

«На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? — говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей», — громко и выразительно произносил слова считалочки кто-нибудь из нас, детей, тыча каждого, обступившего его кружком, пальцем в грудь.

Эта считалка у нас была самая любимая, наверное, потому что в ней были и царь, и царевич, и король, и королевич. И каждый из нас выбирал именно их, а не сапожника или портного, ведь, как нам казалось, куда интересней и значимей быть, скажем, королевичем, чем обычным портным или сапожником. И называя себя царевичами или королевичами, мы на краткий миг именно таковыми и ощущали себя. Были у нас и другие считалки, но чаще мы выбирали именно эту. А если уж приближались сумерки и скоро надо было разбегаться по домам, чтобы наподдать жару и припугнуть самих себя, предпочитали самую короткую, но страшную считалку: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, мужиков резать, баб давить — все равно тебе галить», но в любых иных ситуациях именно первой считалке отдавали мы свое детское предпочтение.

— Король! — кричал кто-то.

Считалочка продолжалась и из круга выходил тот, на кого выпадал король. Вадить или галить, как мы называли при игре в прятки того, кто оставался последним, выпадало невезучему. Куда ведь интересней было прятаться — по-нашему, заныкаться так, чтобы тебя ни в жисть не нашел водящий. А спрятаться было где на нашей раздольной Зеленой улице да еще среди вековых кедров, посаженных, как говорили деревенские старики, давным-давно попами — первыми христианскими миссионерами, приехавшими из центра России прививать алтайцам-язычникам православие, что им и удалось. Высокие, статные, пышные кедровые с вызревавшими на них к осени шишками с вкусными ядрами — кедровыми орешками, за которыми лазили пацаны, росли на территории нашей начальной Зеленой школы. Она располагалась в просторном добротном деревянном светлом здании с огромными окнами. Тут же, в соседнем новом здании, — большой спортивный зал, где проходили занятия физкультурой, а после занятий ученики проводили все свое свободное время, занимаясь разными видами спорта. Школа находилась рядом с нашим домом. В эту школу мы с братом и пошли в первый класс. Здесь, как почти все наши ровесники, мы и получили начальное образование. Ныне этой школы нет — снесли. На ее месте — жилые дома и магазин. От пышной кедровой рощи остались два захудалых кедровых дерева, которые, похоже, вскоре тоже погибнут.

...И вот, сломя голову, мчусь я среди кедров по мягкой высокой траве-мураве школьного кедрового лесочка. Мчусь так, что только пятки в ягодицы влипают, к загадя выбранному месту, чтобы надежно спрятаться. И со всего хода ныряю под высокие кроны какого-то цветущего лиловыми пахучими цветочками растения, — позднее узнала — пустырника, — полукругом облепившего толстый ствол кедрового дерева. Меня больно жалит свирепая катунская крапива. Такая, наверное, растет только в Сибири. Став взрослой, я потом нигде больше не встречала такой жалючки. Те места на руках и ногах, где обстрекала меня крапива, вмиг покрываются пузырями, которые сильно саднят и чешутся, но я замерла и почти не дышу, уверенная в том, что уж

здесь-то, в зарослях с крапивой, водящий не станет меня искать и долго помается, прежде чем я сама выпрыгну. Я-то из своего укрытия хорошо вижу водящего и, напряженно следя за ним, жду момента, когда он повернется ко мне спиной, вот тогда я выпрыгну и опрометью подбегу к тому дереву, у которого он стоял с закрытыми глазами, когда мы прятались, а потом громко оповещал: «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Кто за моей спиной стоит, тому трижды галить» и отправлялся на поиски спрятавшихся. Так вот, едва он отвернется и пойдет в ином направлении, не глядя в мою сторону, выпрыгну, пусть хоть и снова ожалюсь крапивой, зато, опередив водящего, подлечу к тому дереву и «застукаю» его первой. Тогда водящему придется вместо меня водить второй раз, когда мне достанется участь быть водящей.

А пока сижу в укрытии, отслеживая каждый шаг водящего. Он всех, кроме меня, уже нашел. И все стоят и наблюдают за его поисками, а тот, кто знает, где я спряталась, громко кричит, когда он направляется в мою сторону: «Сито, сиди!». Ему многоголосьем вторят все остальные. А водящему подсказывают: «Горячо! Горячо!» — это значит, что он идет на поиски в правильном направлении. Если удаляется от моего места укрытия, ему кричат: «Холодно! Холодно!», и он меняет направление поисков и так будет продолжаться до тех пор, когда он не услышит: «Совсем горячо! Горячо!» и, наконец: «Жарко!». Это означает, что водящий вплотную приблизился к моему укрытию, остается наклониться, остерегаясь крапивы, раздвинуть заросли и, обнаружив там меня, кинуться к дереву — месту водящего, и, постучав по нему ладонью, заорать во все горло: «Застукал! Застукал!» Но пока я не найдена, жду своего момента, чтобы выпрыгнуть за спиной водящего. Сегодня таковым является Борька Каланак. Он не имеет нюха на спрятавшихся, как, скажем, бойкая Лариска Зяблицкая. Та вмиг каждого отыщет. У нее, как говорили мы, отменный нюх, хоть она и не дочь охотника, как, например, я.

— Холодно! — вторят ребятишки водящему, а следом мне: «Сито, беги!»

И я бегу во всю прыть. Водящий, спохватившись, мгновенно оборачивается и тоже во весь дух, чтобы опередить меня и первым застукать, бежит к дереву водящего, но мне повезло: опередила его и застучала первой. Борьке придется водить вместо меня. Он, вижу, этому вовсе не рад, а даже всерьез расстроен. Он вообще чуть что — в слезы, хоть и старше нас, семилеток, которым в этом году предстоит пойти в первый класс. Борька нервный и плаксивый, в отличие от его старшего брата Сашки, по прозвищу Белоголовый: до того у него светлые волосы, что он похож на седого. А у Борьки кличка «Каланок». Он плачет, если проигрывает ребятам в игры, в городки или в кости, или в «Пристенок», когда пацаны мечут о стенку монетки. Сашка его сначала успокаивает: «Не нюнь! Это ж игра. И каждый может проиграть». Потом строжится: «Что ты опять заныл, как девчонка?! Перестань сейчас же! А то получишь у меня». Если и это не действует, и Борька продолжает ныть, размазывая грязными руками слезы по щекам или вытирает их рукавом вельветовой старенькой курточки, продолжая всхлипывать и сквозь слезы обвинять кого-то в том, что тот играл не по правилам, Сашка дает ему хорошую затрещину и велит «катиться домой» и больше не включает его в следующую игру. Борька отбегает на безопасное от брата расстояние, Сашка швыряет в след ему подвернувшиеся под руку мелкие камешки или кусочки сухой земли со словами: «Вали отсюда домой, нюня» и, включившись в игру с ребятами, забывает про Борьку, а тот сидит на полянке, на краю ямки, из которой хозяйки лопатами копают свежую маслянисто-черную зернистую землю для подсыпки в огуречные, дынные или помидорные лунки для урожайности.

Эта земля считается особо плодородной, неистощенной, и наша мама тоже брала ее отсюда. Широкая зеленая поляна с двумя громадными лужами по бокам, которые в начале лета были еще чистыми и прозрачными, как озера, и на их дне нежно покачивались узкие стебелечки травы и просматривались всякие разноцветные стекляшки от битой посуды. Мы плавали в этих лужах на ваннах и надутых черных баллонах от тракторных и машинных колесных шин, гребя самодельными деревянными широкими лопаточками, вырезанными из дощечек вместо настоящих весел. Здесь же плавали, ныряли, добывая какой-то корм, и прожорливые утки с утятами, и злые гуси с маленькими, еще пушистыми гусятами. Когда гуси были на воде, они нас не трогали, но, выйдя на полянку, не давали детворе проходу: гонялись за нами, стремглав убежавшими от них. Случалось, догнав, гуси больно щипали своими красными, словно железными клювами и сильно хлестали широкими крепкими крыльями. Особенно их боялись малыши, ведь взрослые говорили, что гуси могут маленького ребенка зашипать и забить крыльями до заикания и даже до смерти. Мы, те, что постарше, тоже страсть как боялись гусей, пуще, чем собак, а потому пробегали около них с прутом в руках, выставив вперед руку с растопыренными «козой» двумя пальцами, направленными в сторону грозно шипящих гусей, и приговаривали: «Гусь-гусачок, — вот тебе сачок. Иди рыбку полови. На меня не налетай, не бей, не щипай; знай себе — гуляй, травку щипай. Я твоих не трону гусят. Сам пасти их был бы рад». И, как нам казалось, гуси от этой наивной детской присказки и выставленной им навстречу «козы» успокаивались и не налетали столь оголтело и яростно на проходящего мимо них ребенка. Но вообще-то мы старались обходить злых сибирских наших гусей, особенно когда они с гусятами, стороной. Иной раз, накупавшись, идя домой с речки нашей Маймы, завидев в переулке гусей, обходили их даже по другой улице, сделав немалый крюк.

...А потом в лужах на поляне заводились шустрые, похожие на гвоздики с круглыми шляпками головастики, вертикально ввинчивавшиеся в начинавшую покрываться зеленью, как плесенью, воду. Но мы все равно плавали в ваннах, а мальчишки — больше на баллонах, даже и на перегонки, пока лужи не становились совсем мелкими и вовсе пересыхали, обнажая донные сокровища — разные битые черепки. Их мы с

подружками охотно подбирали для игр в куклы и домики, устраиваемые нами в саду, на чердаке или на той же поляне, на косогоре, на шелковистой зелено-сочной траве, прямо возле луж.

Те громадные глубокие и чистые лужи с зеленой травой-муравой и битыми черепками на дне, как ни странно, мне до сих пор снятся. Просыпаюсь после такого сна с какой-то легкой и светлой грустью, с ожиданием нечаянной радости и чего-то хорошего, еще несбывшегося, сулившегося в детстве...

НА ПОКОСЕ

Покос для сельского жителя, как и посевная, и уборочная,— особая горячая пора. К нему готовятся загодя, как к празднику, сознавая вместе с тем, что ждет тяжелый труд, зачастую поджигаемый погодными сроками: управиться с сенокосом надо пока стоит ведро — солнечно и сухо. Накосишь сено, пойдут дожди, и пропадет оно: почернеет, сгниет. А если даже удастся, вырвав солнечные сухие денечки, все-таки состоговать, накидав в сенные пласты соль, испорченное дождями сено, то такое сено коровушки поедают неохотно да и малокалорийное оно, и не вкусное, не душистое, пахнущее гнилью. Скотинушка любит духовитое сено, вовремя заготовленное: вовремя — это с июня, с Троицы, и лучше до августа, пока травы не перезрели и сочными, душистыми ложатся под косой.

Наши родители всегда держали коров, значит, были и телята, и сена приходилось заготавливать много. В зарод (стог), как говорят на Алтае, для одной коровы надо накосить не менее сорока больших, хорошо утопанных, то есть утрамбованных ногами, копен (копна — сухое сено, сложенное в большую кучу для стогования).

Родители косили и стоговали сено вручную. Летом помогать на покосе приезжала наша старшая сестра Валентина из Барнаула, куда она уехала учиться из Кош-Агача, самого удаленного в Горном Алтае (ныне Республика Алтай) райцентра на границе трех государств — Монголии, Китая и Казахстана, где все мы, дети, родились. В Барнауле Валя вышла замуж, родила сына Гену и осталась жить навсегда, не забывая, однако, Горный Алтай, где жила наша семья. Еще в помощники нанимались соседи, особенно когда отец работал в Алтайской геологоразведочной экспедиции и уезжал на все лето на изыскательные работы, проводившиеся в Горном Алтае. Здесь ведь много разных добываемых полезных ископаемых, включая даже редкие ртуть, вольфрам, молибден и золото. Помогал на сенокосе и сосед дядя Володя Плотников, пока помоложе был и еще в силе. Он — участник, помнится, трех войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной. От ранений у него одно плечо было выше другого, и ходил он как-то бочком, как бы едва заметно прихрамывая, но косарь и стоговальщик сена в зарод был отличный, опытный. А стоговать надо уметь, не каждый сможет, не имея опыта: навильник сухого сена надо подать не абы как, не боком, а плашмя, чтобы он плотно лег, и стоговальщик, принимающий пласт наверху зарода, смог его хорошенько уложить и утрамбовать ногами. Плохо сложенный стог может раздуть ветром, промочить дождем, и сено сгниет — весь тяжкий труд по его заготовке пойдет насмарку.

Когда по возрасту дядя Володя уже не смог помогать нам на покосе, его заменили муж с женой, которые по найму многим помогали на селе в покосных делах. Фамилии их и имени мужа не помню, жену звали Шура. Певунья, плясунья и веселушка она была отменная, а муж ее хорошо играл на гармошке, которую и на покос брал с собой. Вечерами, после работы, он усаживался на пенек у костерка, на котором готовился нехитрый покосный ужин и непременно ароматный травяной чай, с азартом растягивал меха своей выдавший виды старенькой, но голосисто звонкой гармошки и запевал русские народные песни сильным красивым голосом, голосистая Шура и все остальные взрослые тоже голосисто подхватывали. И мои родители тоже хорошо пели, как и многие в Сибири, где любят петь и знают цену хорошей настоящей песне. И как поют — заслушаешься! В компаниях обычно запевалой был папа, мама подхватывала, потом все остальные включались.

Мы с братом Володей, старше меня тремя годами, слушали замечательное пение косарей под звездами, под дымком, стлавшимся по вершине горы, с ароматами, исходившими и от скошенного подсыхающего сена и от свежих росистых трав, особенно от буйно разросшегося рядом пуговичника, как сибиряки в простонародье называют пижму, поскольку ярко желтые, с особым мятным запахом соцветия ее похожи на небольшие пуговицы. Пели слаженно, задушевно и мелодично. Песня то бурной рекой, то серебряным ручейком лилась под звездным небом, над горой, покосом, уносясь и затихая где-то далеко, на вершинах дальних, едва чернеющих в сгущающейся темноте горных отрогах. Даже в наших детских душах от пения того становилось как-то сладко и хорошо, хотелось вслед за песней также улететь в дальние дали и ответно сделать что-то хорошее, дарящее, как льющееся это пение, светлую радость и сердечную теплоту и истому. Мы, дети, сидели рядом со взрослыми у костра или лежали на сухой душистой копне сена и слушали, вглядываясь в чернеющее небо, на котором всходила из-за горы ярко оранжевая луна и одна за другой появлялись звездочки. И вскоре весь небосвод, по которому от края до края пролегал бледный таинственный Млечный путь, был усеян крупными мерцающими звездами. Ясно и по-доброму глядела прямо на нас с небес немигающая Венера, так любимая мамой и мной. Было хорошо и покойно на душе, и жизнь казалась такой славной и вечной, и все — бессмертными, не предполагая даже, что пройдет совсем немного времени и вот этих людей, так замечательно и задушевно поющих в горах у костра, уже не будет на этой земле, как и наших родителей...

...Готовиться к покосу родители начинали задолго: косы, отбойники для них, грабли, вилы, веревки, с помощью которых на конях возили копны, разные ножи, ножовки, топоры, а также походную кухонную утварь, специально предназначавшуюся для покоса, съестные припасы, легкую светлую хлопчатобумажную одежду, чтобы не жарко было на солнцепеке косить,— легкие шаровары на резинках у шиколотки, чтобы сухая трава не забивалась под них и не колола ноги,— легкую парусиновую обувь, которая была в ту пору в ходу и многое другое. Кстати, покосные грабли и вилы были у нас вовсе не железные, как представляется, наверное, сейчас читателю, а легонькие деревянные, специальные, сделанные отцом еще по осени и основательно просушившиеся под крышей бани за зиму и весну. Вилы были двурожки, чтобы просто поддевать сено и трехрожки с длинными тремя рогами и длиннющей гладкой ручкой — такие предназначались для стогования. Чтобы сделать такие вилы, надо было выбрать высокое, стройное ровное молодое, но крепкое, прочное ивовое или осиновое дерево с ровными ветвистыми сучьями — рогами. Грабли тоже были деревянные: большие для мужчин, поменьше — для женщин и совсем маленькие — для нас с братом. Уже лет с восьми — десяти мы помогали родителям на сенокосе ворошить подсохшие рядки скошенной травы, чтобы она хорошо просохла со всех сторон. В жаркий день переворачивать их приходилось по нескольку раз, причем так, чтобы не растрепать, а, перевернув аккуратно на другую сторону, чтобы рядок оставался ровным — так легче потом будет сгрести сено граблями и, поддевая вилами, укладывать в копешки, в чем мы тоже участвовали.

...И вот все готово к сенокосу. Настал день выхода на него. С утра пораньше мы уже готовы отправиться в не ближний путь, поднимаясь по пыльной дороге в горы, на нашу сенокосную делянку. Мы с братом — в широких сатиновых шароварах и светлых ситцевых рубашках, на головах у нас белые панамки, чтобы солнцем не напекло. Мама в штапельном легком платье в мелкий цветочек,— в шаровары и светлую ситцевую кофточку она переоденется уже на покосе,— волосы спрятаны под белой косынкой. Мама специально надевает широкое платье с юбкой-татьянкой, чтобы поднимаясь по перевалам с горы на гору, мы, изрядно усталые, могли уцепившись за ее подол, почти тащиться, а не идти. После сенокоса мама будет зашивать платье, приговаривая: «Все бока вы, ребятишки, у моего платья пообтянули, но выдюжила ткань, только по швам разошлось, зато вы, цепляясь за мой подол, до места дотащились». И впрямь, вцепившись в мамину юбку, уставшие и разморенные, мы полпути едва тащились по пыльной горной дороге под палящим солнцем. Руки-то у мамы заняты огромными алюминиевыми бидонами; в одном — молоко, в другом — прохладная приятно-кисловатая пахта — отработка после сбивания из сметаны сливочного масла, хорошо утоляющая жажду и вместе с тем сытная: попил и есть расхотелось. Еда на дорогу, баклажка с водой и прочее — в рюкзаке, за ее плечами. У нас с братом в руках — тоже ноша, правда, в отличие от маминой, нетяжелая. Мы — готовы. Итак,— в путь! А он — вовсе не близкий.

Покос наш,— выделенный отцу совхозом большой участок разнотравья на косогорах и в низине, у горного ручья,— находился довольно далеко, в горах, у дальней горы Становой (так народ называет ее), вытянувшейся на горизонте — километров за пять, а то и больше от нашего дома. Издали казалось, что она нереально далеко и дойти или доехать до нее вообще невозможно, но мы шли туда пешком и доходили. Редко, когда отцу удавалось заполучить в совхозе лошадь с телегой,— все лошади и телеги задействованы были, в первую очередь, на совхозных работах,— уборочная и сенокос в хозяйстве тоже были в разгаре.

Отец накануне сенокоса уже побывал на нашей делянке, соорудил там шалаш, в котором прохладно и уютно, пахнет сеном, свежей древесиной и березовыми листьями; определил и устроил место для костра, заготовил сушняк для костра; отвез на коне грабли, вилы и прочий громоздкий инвентарь, кухонную утварь, припрятав их там в укромном надежном месте где-нибудь в кустах, у ручья, прикрыв их клеенкой от дождя, а сверху травой, чтобы постороннему глазу не видно было. Чаще всего он и сам там оставался ночевать и еще до нашего прихода, с утречка, пока роса на траве не высохла,— не зря говорится: «Коси, коса, пока роса»,— уже прошел с косой несколько рядков, издающих, высыхая под солнцем, сладкий приятный аромат. Великолепно пахнет скошенное в горных лугах разнотравье!

...Грунтовая пыльная дорога до Становой идет все в гору и в гору, выше и выше, то поднимаясь на очередную высоту, то опускаясь с нее. С обеих сторон ее обступают высокие, выше человеческого роста, кукурузные поля, сменяющиеся уже набравшей колос пшеницей, а потом горными увалами, сплошь покрытыми разными цветами и травами. Мы выходим очень рано, чтобы до солнцепека успеть пройти большую часть пути. Будем останавливаться передохнуть, попить водички у горных ручьев и родников, умыться и понюхать цветы, чтобы силы прибавились. Так нам говорила неунывающая наша, всегда веселая, жизнерадостная, с песней и стихами на устах, с приплясочкой наша любимая старшая сестра Валя, когда мы сильно уставали и, казалось, уже нет сил идти по жаре.

— Людочка, Вовочка,— звала она нас с братом,— свернув с дороги в сторону какого-нибудь пригорка, идите скорей сюда!

Мы подбегали к ней. Валя, улыбаясь и весело запрокидывая голову, обхватывала куст цветущих диких роз,— не помню как именно назывались эти высокие, кустами растущие цветы с резными листьями и нежно-розовыми соцветиями, но мы называли их именно так — розы,— и, уткнувшись в них лицом, глубоко вдыхала их едва уловимый нежный аромат, бодро и озорно говорила нам:

— Нюхайте, ребятишки, нюхайте розы, как я. Их аромат придаст вам силы. Смотрите, какая я стала сильная. Мне все — нипочем! До покоса бегом добежать могу. Догоняйте меня!

И Валя, смеясь и дурачась, пускалась бежать по дороге, на ходу нюхая сорванную розочку. Мы следовали ее примеру и пускались с розочками в руках вслед за ней. А она со смехом, со всего маху падала в траву и устремляла взгляд в небо: «Ребятишки, делай как я: падайте в прохладную траву и смотрите в небо, на облака, и катайтесь на них. Я поехала вон на том, похожем на лошадку, видите?! Догоняйте меня в небе! Эгге!» И мы тоже нюхали цветы, весело падали в траву и, катаясь на облаках, пускались за Валею вдогонку. И усталость уходила, и силы прибавлялись. И, подпевая Вале: «Идем, идем веселые подруги, страна, как мать, зовет и любит нас. Везде нужны заботливые руки и наш хозяйский зоркий женский глаз...», бодро маршируем рядом с ней, вложив свои рученьки в ее крепкие горячие ладони, уже не цепляясь за мамин подол. И вот так с Валиными песнями, шутками, дурачествами мы забывали про усталость и добирались до покоса. Теперь-то я понимаю, что все это делала она, моя дорогая сестричка, годившаяся нам с братом по возрасту в мамы, будучи намного старше, жалея нас, чтобы подбодрить, поддержать, прогнать нашу усталость. И ей это удавалось. А когда на очень сильной жаре мы совсем выбивались из сил и еле волочили ноги, да и мама сильно уставала с тяжелой-то поклажей в руках, хотя вида не подвала, Валя делала вот что. Она все так же резвясь, смеясь, с шутками, выдергивала из маминых рук бидоны, поднимала их в очередную горку, ставила их там, на верху, в тенечке, под широкими листьями придорожных лопухов или под деревьями и, спустившись к нам, сажала Володю на свою горбушку, меня брала на руки перед собой и так поднимала нас наверх горы, усаживая там отдохнуть в тени придорожных кустов. Потом снова сбегала вниз к медленно поднимающейся в гору маме, перебрасывала рюкзак с маминых плеч на свои и «брала маму на буксир», как это называла Валя, как бы шутя, подталкивая сзади маму в спину, облегчая ей подъем в гору. И откуда у нее только силы брались, столько в ней было энергии, азарта, веселости, молодого задора! Поистине энергия, сила юной жизни в ней была неиссякаемым лучезарным ключом.

Уже давно нет ни мамы, ни Вали в живых, зато те наши покосные дни так живо встают в памяти, и в этих днях оживают и мама, и сестра. И всякий раз, встречая где-либо дикую розу, вспоминаю, как говорила нам старшая сестра о том, что аромат цветов дает силы. И всякий раз, когда где-то в пути, да и не только в пути, сильно устаю, нюхаю цветы, а если есть такая возможность, падаю в траву и смотрю в небо, на плывущие облака, «катаясь» на них. Это и впрямь дает мне силы, а может, это память моего золотого детства дает мне силы?!